

с. 2.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА.

Д. С. Мережковский. — О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы. Спб. 1893 г.

...Когда в литературе начинают появляться молодые люди или, лучше сказать, молодые мертвецы, когда от старых мыслей, только что казавшихся новыми, встает уже холодом жилая, ступенчатая заплата, энергии и таланта, это — признак послышавших дней старого поколения: уже тут месанинано бьет лугу.

(Из предисловия к книге, стр. 35).

I.

Прежде, чем в оправдание вышеприведенного эпиграфа я буду говорить о том значении и роли в нашей литературе и жизни, какия имѣетъ г. Мережковский съ его книгой, равно и прочими произведеніями, считаю необходимымъ проинтуитировать вкратцѣ, насколько позволитъ размѣръ фельетона, книгу эту и познакомить читателей нашихъ съ ея содержаніемъ.

Но, признаюсь, дѣло это очень трудное. Трудно представить себѣ тому, кто не перелистывалъ этой книги, что за невообразимый сумбуръ царитъ на ея страницахъ. Читаешь, и только руками разводишь!... И вы не подумайте, чтобы сумбуромъ называлъ я въ настоящемъ случаѣ какия-либо дикія мысліи, съ которыми я былъ-бы несогласенъ; нѣтъ, совсѣмъ другое: именно, что у г. Мережковского вы встрѣтите десять различныхъ взглядовъ на десяти страницахъ; слѣдующая страница представляетъ собою нѣчто совершенно противоположное, чѣмъ предыдущая; а третья отрицаетъ и первую, и вторую! Вотъ и извольте разобратся въ этой путаницѣ. Такъ, судя по заглавію, вамъ предстоитъ имѣть дѣло съ упадкомъ нашей литературы и авторъ общается даже разъяснить вамъ причины этого упадка. Между тѣмъ, когда авторъ начинаетъ перебирать беллетристовъ и поэтовъ — одного, другого, третьяго, сначала старѣйшихъ, потомъ новѣйшихъ, — всѣ на подборъ вызываютъ въ г. Мережковскомъ одинъ восторгъ; всѣ характеристики его представляютъ собою рядъ панегириковъ и дифирамбовъ; — ну и, конечно, изъ всего этого невольно получается у васъ такое впечатлѣніе, что какою-же тутъ упадокъ, — напротивъ того, такое процвѣтаніе, подобнаго которому не имѣла ни одна литература.

Но попробуемъ, на сколько возможно, если не распутать невѣроятный клубокъ, какой наматалъ намъ г. Мережковский, то хотя обозначить главные пункты тѣхъ вопіющихъ противорѣчій, которыми наполнена книга.

II.

На первыхъ страницахъ г. Мережковский останавливаетъ наше вниманіе на томъ фактѣ, что у другихъ народовъ въ древней Элладѣ, въ Италіи, эпохи Ренессанса, въ современной Франціи и пр., мы замѣчаемъ особеннаго рода единеніе между художниками, которое и создаетъ великую литературу. «Мы видимъ повсюду и во всѣхъ вѣкахъ, — говоритъ г. Мережковский, — въ современномъ Парижѣ, какъ и во Флоренціи XV вѣка и въ Афинахъ Перикла, и Веймарскомъ кружкѣ Гете, и въ Англіи, въ эпоху Елизаветы, что нужна известная атмосфера для того, чтобы глубочайшія стороны генія могли вполнѣ проявиться. Между писателями съ различными, иногда противоположными полюсами, особый умственный течения, особый воздухъ, насыщенный творческими вѣбаниями, и только въ этой грозивой, благодатной атмосферѣ генія возмужаетъ та внезапная искра, та всеозарившая молнія народнаго сознанія, которая люди ведутъ и не могутъ иногда дожидаться въ продолженіи цѣлыхъ вѣковъ. Литература — своего рода цер-

ковь. Геній народа говоритъ вѣрующимъ въ него: «гдѣ двое и трое собрались во имя мое, тамъ я среди нихъ». Человѣкъ только среди подобныхъ себѣ становится воистину человѣкомъ»...

У насъ-же — по мнѣнію г. Мережковского — никогда такого единенія не было. Жалобы на одиночество вырываются уже у Пушкина. Онъ былъ такъ-же одинокъ въ цыганскомъ таборѣ, въ глубинѣ бессарабскихъ степей, какъ и въ ледяныхъ кружкахъ свѣтскаго Петербурга, какъ и въ литературной атмосферѣ Греча и Булгарина. Такое-же одиночество — судьба Гоголя. Всю жизнь сатирикъ боролся за право смѣяться. Пануряющее, губительное чувство *напрасной* (?) любви къ родинѣ было у Гоголя еще сильнѣе, чѣмъ у Пушкина. Оно нарушило равновѣсіе его внутреннее равновѣсіе, довело до безумія. Лермонтовъ стыдился названія русскаго литератора, какъ чего-то унизительнаго и карикатурнаго. Во второмъ поколѣніи русскихъ писателей чувство безпомощнаго одиночества не только не уменьшается, а скорѣе возрастаетъ. Творецъ Обломова всю жизнь оставался наивнѣйшимъ литературнымъ отшельникомъ и недоступнымъ. Достоевскій, произносящій пламенную рѣчь о всечеловѣческой примиряющей терпимости русскаго народа на пушкинскихъ празднествахъ, пишетъ на одного изъ величайшихъ русскихъ поэтовъ и самыхъ законныхъ наследниковъ Пушкина, вдохновляемый ненавистью къ западникамъ, карикатуру Карамзина въ «Бѣсахъ». Некрасовъ, Щедринъ и весь собранный ими кружокъ питаетъ непримиримую гражданскую ненависть къ «жестокостному таланту», къ Достоевскому. Тургеневъ, по собственному признанію, чувствуетъ инстинктивное, даже физиологическое отвращеніе къ поэзіи Некрасова. Еще болѣе — по мнѣнію г. Мережковского — характерна для русской литературы вражда Толстого съ Тургеневымъ.

Такъ называемые русскіе кружки — еще хуже русскаго одиночества: второе горше перваго. Тургеневъ недаромъ ненавидѣлъ ихъ. Для примѣра стоитъ указать на славянофильство. Это настоящій московскій приходъ, не живое, свободное взаимодействіе искреннихъ и талантливыхъ людей, а какой-то литературный уюлъ, гдѣ, какъ во всѣхъ углахъ, тѣсно, душно и темно.

На этихъ основаніяхъ, по мнѣнію г. Мережковского, у насъ завтра-же можетъ явиться новый романтистъ, равный Тургеневу, новый поэтъ, равный Лермонтову и написать гениальное произведеніе, — все-таки, великой, имѣющей всемірное значеніе русской литературы онъ не создастъ. И тотчасъ-же послѣ его смерти наступитъ та-кой-же упадокъ, такое-же варварское и непонятное одиночаніе, какое мы теперь переживаемъ.

III.

Но дальѣ затѣмъ г. Мережковский обращается къ восхваляемой имъ французской литературѣ, которую онъ только что поставилъ намъ въ примѣръ единенія, и, къ удивленію нашему, картину такого разединенія литературныхъ силъ представляетъ онъ, до котораго и намъ далеко. Такъ, тѣ-же самые натуралисты, съ Золя во главѣ, которые такъ недавно еще (на страницахъ нашихъ-же журналовъ, между прочимъ), отрицали и въ доскъ клали романтиковъ, не исключая даже и такихъ свѣтилъ, какъ В. Гюго и Ж. Зандъ, нынѣ съ тѣмъ-же безпомощнымъ отрицаніемъ нагнувшись на декадентовъ, имѣющихъ претензію заимствовать натуралистовъ.

«Что они предлагаютъ, чтобы насъ замѣнить? восклицаетъ Золя (какъ сообщаетъ съ этимъ и во французскомъ текстѣ, и въ переводѣ г. Мережковского): какъ изъ противоясія огромный позитивной работы послѣднихъ пятидесяти лѣтъ, указываютъ на неопредѣленный этикетикъ «символизмъ», прикрывающій бездарные вирши.

Чтобы завершить разрушительный конец этого громадного вѣка, чтобы выразить всеобщую горечь сомнѣнія, тревогу умовъ, жаждущихъ чего-нибудь неизбѣжнаго, намъ предлагаютъ неясное щебетанье, грошовой вздорный пѣсенки, сочиненныя трагическими заведомостями? Все эти молодые люди (которымъ — кстати сказать — за тридцать, за сорокъ лѣтъ) заняты, въ столь важный моментъ исторической эволюціи идей, подобными глупостями, подобнымъ робчествомъ, кажутся намъ *орьто-вами скорлупками, плывущими на водопадъ Ниагары...*

Итакъ натуралисты представляютъ себя Ниагарой, а своихъ противниковъ орѣшками, сплывшими на этомъ страшномъ, — можетъ-ли простираться дальше человеческое высокостіе, — и что такое все распри Тургенева съ Некрасовымъ, Достоевскаго съ Тургеневымъ и передъ подобнымъ взаимонстребленіемъ, а г. Мережковский видитъ во всемъ этомъ завидный образецъ единенія. Мало еще того: далѣе онъ рассказываетъ, какъ любознательный Гюрё отыскалъ (это при единеніи-то) главу поэтовъ-символистовъ, Поль Верлена въ его любимомъ, шлохенькомъ кафе на бульварѣ, Saint Michel. Передъ репортеромъ былъ человекъ уже не молодой, *сильно помалый* (sic), съ чувственнымъ лицомъ Фавна (еще того лучше!), съ огромнымъ, лысымъ черепомъ. Поль Верленъ бѣденъ. Не безъ гордости, свойственной «униженнымъ и оскорбленнымъ», онъ называетъ своей единственной матерью *l'assistance publique* — общественное призаніе». Конечно, восклицаетъ г. Мережковский, такому человеку далеко до академическихъ пресель радомъ съ М. Лоти, о которыхъ пламенно и ревниво мечтаетъ Золя».

Ай да единеніе французской литературы! Нечего сказать, идеальное!..

IV.

Что касается отношенія самого г. Мережковского къ французскимъ натуралистамъ и противникамъ ихъ, декадентамъ-символистамъ, то сердце его склоняется всѣми своими фибрами въ послѣдній. Въ нихъ онъ видитъ первыхъ пионеровъ возмущенія противъ, какъ онъ выражается, «неблизкихъ крайностей грубого, жестокаго и мертвцаго натурализма», этого исчадія позитивной философіи, которую г. Мережковский ненавидитъ, въ свою очередь, отъ всей души. «Въ сущности, говоритъ онъ, все поколѣніе конца XIX вѣка носитъ въ душѣ своей то-же возмущеніе противъ удушающаго мертвеннаго позитивизма, который камнемъ лежитъ на нашемъ сердцѣ. Очень можетъ быть, что они (кто они, — декаденты или-же все поколѣніе конца XIX вѣка?) погибнутъ, что имъ ничего не удастся сдѣлать. Но придутъ другіе и, все-таки, будутъ продолжать ихъ дѣло, потому что это дѣло — *живое*».

Возмущеніе декадентовъ противъ мертвенности позитивнаго романа заключается, по мнѣнію г. Мережковского, во внесеніи въ область поэзіи трехъ элементовъ, пренебреженныхъ натуралистами — мистицизма, символизма и импрессионизма.

Мы не будемъ входить въ разборъ, насколько это правильно или неправильно, такъ какъ въ настоящую минуту я занимаюсь не оспариваніемъ мнѣній г. Мережковского, а лишь констатированіемъ ихъ и анализомъ логической послѣдовательности. Поэтому, допустимъ, что г. Мережковский правъ: натурализмъ довелъ французскую литературу почти до гибели, а декаденты готовы возродить ее къ новой жизни.

Далѣе, принимая во вниманіе заглавіе книги: *О причинахъ упадка и новизны теченій современной русской литературы*, читатель вправе, по представляемой

ему аналогіи, заключить, что и у насъ случилось нечто подобное: точно также и наша литература пришла въ упадокъ подъ гнетомъ материалистическаго натурализма, и, въ свою очередь, возродить нашу литературу могутъ только новыя теченія, вроде декадентовъ во Франціи.

V.

И вдругъ, что-же оказывается? Оказывается, что никакихъ возрожденій вовсе и не требуется, такъ какъ уже наши корифеи 40-хъ годовъ вполне воплотили въ своихъ произведеніяхъ все три элемента поэзіи: и мистицизмъ, и символизмъ, и импрессионизмъ. «Великая плеяда русскихъ писателей: Толстой, Тургеневъ, Достоевскій, Гончаровъ, заявляетъ категорически г. Мережковский, съ несравненной силой и полнотой воспроизводить все три основы идеальной жизни».

Тургеневъ, несмотря на весь свой скептицизмъ, властелинъ полуфантастическаго, ему одному доступнаго міра. Вспомните поэмъ въ прозѣ, какъ будто полныя гармоніи и совершенства пушкинскаго стиха, «Живые мощи», «Бѣжить зугъ», «Довольно», «Призраки», «Собака», въ особенности «Пѣсь торжествующей любви» и «Стихотворенія въ прозѣ». Вотъ, гдѣ неподражаемый, оригинальный Тургеневъ, самъ себя незнающій цѣны, вотъ гдѣ онъ царь обаятельнаго міра. «Какъ непреодолимо въ Тургеневѣ тяготѣніе къ фантастическому, видно изъ женскихъ фигуръ его большихъ общественныхъ романовъ. Это безлѣтные и безкровные призраки, родины сестры Морелли и Лагея изъ новеллы Эдгара Поэ. Такихъ идеальныхъ дѣвушекъ и женщинъ ни въ Россіи и нигдѣ на землѣ не было и т. д.

Гончаровъ, по мнѣнію г. Мережковского, изъ всѣхъ нашихъ писателей обладаетъ вмѣстѣ съ Гоголемъ наибольшей способностью символизма. Каждое его произведеніе — художественная система образовъ, подъ которыми скрыта вдохновенная мысль...

О Достоевскомъ, постигшемъ, по словамъ г. Мережковского, всю неисчерпаемую, ничѣмъ не открытую новизну величайшей книги прошлаго — Евангелія, — и говорить нечего: прочтите исповѣдь «Великаго инквизитора», признанія и сцену самоубійства Кирилова въ «Бесахъ», вы согласитесь, что въ Достоевскомъ было это преступное любопытство идеей мысли, эта дерзость посягновенія на величайшія святыни долга и вѣры, то демоническое, что въ Байронѣ Бодлеръ называетъ *le satanique*...

Когда-же дѣло доходитъ до А. Толстого, г. Мережковский — подобно гоголевскому учителю исторіи — въ дребезги разбиваетъ стулъ, находя, что въ минуты отчаянія достаточно произнести одно имя — Левъ Толстой! — и сразу становится легче... Слава Богу — *онъ есть у насъ!* А пока у народа есть одинъ такой человекъ — несмотря ни на какія испытанія, народъ не имѣетъ права отрывать отъ надежды, что ему принадлежитъ великая будущность!

VI.

Но, можетъ быть, великіе три элемента поэзіи присущи лишь упомянутымъ корифеямъ 40-хъ годовъ. Въ новѣйшихъ-же писателяхъ — вотъ, гдѣ должны мы искать зловѣщіе признаки литературнаго упадка. Обратимся къ писателямъ, идущимъ за корифеями. Прежде всего слѣдуютъ, конечно, пародисты — Рѣшетиновъ, Гл. Успенскій, Златовратскій, Короленко. Но г. Мережковский рѣчь свою о пародистахъ прямо начинаетъ съ заявленія, что это «могущественное литературное теченіе, также вполне современное, имѣетъ огромную будущность», и лишь по недоразумѣнію большинство нашихъ критиковъ придаетъ ему такой рѣзкій, утилитарный и реалистическій характеръ. И далѣе вслѣдъ за Кольцовымъ г. Мережковский

находить присутствие все тех же излюбленных своих элементов поэзии — и в Короленко (его «Сонь Магара»), и в Г. Успенском (его «Парадонъ юродивый»).

Затѣмъ идутъ совсѣмъ повѣйшіе уже беллетристы Гаршинъ, Чеховъ, Ямскій, цорты Надсонъ, Минскій, Голенищевъ-Кутузовъ, Андреевскій. Изъ нихъ г. Мережковский черпаетъ свои три элемента горстями, — сколько хочешь, столько и просишь.

И ожидаетъ, что г. Мережковский окажетъ неблагосклонность къ г. Боборыкину, какъ къ наиболее ревностному посядователю неважистаго ему французскаго жертвеннаго натурализма. Ничуть не бывало:

«И. Д. Боборыкинъ, говоритъ г. Мережковский, кажется, одинъ изъ первыхъ ввелъ въ Россію приемы западно-европейскаго экспериментальнаго романа. Насколько было возможно, онъ освободилъ этотъ условный родъ беллетристики отъ тяжеловѣсной скуки и придалъ ему изящную легкость. Но великое современное теченіе пошло и русскаго натуралиста. Въ послѣднемъ, едва ли не лучшемъ изъ всѣхъ произведеній Боборыкина романъ-дневникъ «Передъ чѣмъ-то», — умный, чуткій, талантливый наблюдатель современной жизни окончательно порываетъ съ традиціями условнаго натурализма».

А если даже и въ г. Боборыкинѣ, при всей его приверженности къ проклятому натурализму, г. Мережковский не усматриваетъ признаковъ упадка литературы, то въ чемъ-же онъ ихъ видитъ?

VII.

Неужели-же весь упадокъ литературы заключается въ томъ, что въ редакціонныхъ собраніяхъ г. Мережковскому бываетъ очень скучно?

«Нигдѣ даже въ Россіи не царствуетъ такая скука, — говоритъ г. Мережковский, — какъ въ литературныхъ кружкахъ. Опять-таки, безъ всякихъ выписокъ философскихъ и политическихъ соображеній, просто кажется, что здѣсь нѣтъ жизни. Когда сразу изъ европейскаго воздуха, изъ атмосферы напряженной дѣятельности и мысли, перенесешься въ одинъ изъ этихъ притоновъ скуки, въ одну изъ несчастныхъ петербургскихъ редакцій, съ какими горькими недоумѣніемъ слушаешь унылые разговоры унылыхъ сотрудниковъ. Если редакція легкомысленная, кажется, что попалъ въ подозрительную справочную контору, если редакція серьезная, чувствуешь себя въ канцеляріи среди чиновниковъ».

Или неужели упадокъ весь исчерпывается тѣмъ, что въ газетной прессѣ (охъ, ужъ эта газетная пресса, — за все про все является она козломъ отпущенія!), — въ передовицахъ и фельетонахъ — портать русскій языкъ! Но, съ одной стороны, не-санъ-ли г. Мережковский отрицаетъ у многихъ повѣйшихъ беллетристовъ, напримеръ, у Гаршина, образцовый языкъ, а съ другой — въ какой странѣ найдете вы въ ежедневной прессѣ, при торопливости газетной работы — академически правильный языкъ? Кому во Франціи, напримеръ, придетъ въ голову блять вслѣдъ изящнаго французскаго языка не въ романахъ Додэ, Флобера, Золя, — а на столбцахъ «Temps» или «Figaro»? Это только наши доморощенные мыслители, вроде г. Мережковского, способные пѣть іереміады по поводу того, что фельетонисты и репортеры впопыхахъ вѣсто русскаго слова употребляютъ иностранное.

Въ концѣ концовъ, оказывается, что все это заключается въ современныхъ критикахъ, — и, главнымъ образомъ, въ четырехъ, — Протопоповѣ, Буренинѣ, Волынский и нашемъ покорѣннѣмъ слугѣ. Вотъ, мы-то (даже изъ насъ своихъ банальнымъ утилитаризмомъ, третій злословный глаузилляни, а четвертый — трудно и разобрать чѣмъ) родемъ зловѣщую яму, въ которую рискуетъ про-

валиться вся современная литература и поэзія, съ г. Мережковскимъ во главѣ. Правда, тутъ рѣзко бросается въ глаза, что четыре злословя русскаго литературы всѣ, какъ на подборъ, принадлежатъ къ числу критиковъ, отзывавшихся о г. Мережковскомъ не совсѣмъ уважительно, — но оставимъ въ сторонѣ эти личныя счеты. Допустимъ, что и въ самомъ дѣлѣ мы такіе Геростраты. Но, съ одной стороны, изъ всей книги г. Мережковского явствуетъ, что литература наша полна такихъ блестящихъ произведеній, что упоминаніе о каждомъ писателѣ вызываетъ въ г. Мережковскомъ одинъ восторгъ и, какъ мы видимъ, у г. Мережковского, что страшица, то панигирика. Такъ что, въ концѣ концовъ, оказывается, что всѣ злословящіе критиковъ-Геростратовъ не производятъ на литературу никакого вліянія, и она не только не падаетъ, а съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе процвѣтаетъ.

А съ другой стороны, — изъ самой книги г. Мережковского явствуетъ, что современная критика даже не исчерпывается четырьмя Геростратами. Геростраты остаются ошумъ; одесную-же литературу вѣетъ много рода критиковъ, которыхъ можно назвать ея ангелами-хранителями. Таковы, напримеръ, г. Михайловскій, котораго г. Мережковский не хочетъ даже и ставить рядомъ съ неважистыми ему критиками-Геростратами, а помѣщаетъ въ отдѣлъ беллетристовъ — пародистовъ, рядомъ съ Габбомъ Успенскимъ — и читаетъ ему уже не панегирикъ, а настоящій гимнъ, доходящій до стихотвореній и даже пророчествъ:

«Вотъ человекъ! — восклицаетъ г. Мережковский: — за 25-ть лѣтъ работы онъ не перемѣнилъ себя ни однимъ движеніемъ, ни однимъ помысломъ, ни однимъ чувствомъ и не перемѣнилъ до послѣдняго вздоха:

Онъ имѣлъ одно вѣдѣніе
Непоколебимое уму,
И глубоко впечатлѣніе
Въ сердце вѣдалось ему.

И онъ посвятилъ этой святинѣ востину рыцарскаго служенія безъ упрѣка».

Г. Михайловскій очень почтенный и достойный всакого уваженія писатель, но пресмыкаться, все-таки, не слѣдовало-бы, даже хотя-бы и передъ еще болѣе великими людьми. Въ честь г. Михайловскаго, онъ остался на высотѣ своей неподкупности и, не тронувшись зестью г. Мережковского, на страницахъ «Русскаго Богатства» отнесся къ нему вполне такъ, какъ г. Мережковский того заслужилъ. Но это такъ лишь, въ слову.

Кромѣ г. Михайловскаго, есть другой ангелъ-хранитель, бдящій надъ русскою литературой, — С. А. Андреевскій, который, по словамъ г. Мережковского, — истинный поэтъ-критикъ. «Въ его стихотвореніяхъ есть иногда женственная прелесть и грація, но, все-таки, онъ болѣе самостоятельный и оригинальный художникъ въ своихъ критическихъ работахъ. Его превосходныя монографіи русскихъ писателей: Тургенева, Лермонтова, Толстого, Баратынскаго, Некрасова, Достоевскаго — похожи на портреты, набросанные быстрыми, воздушными-легкими штрихами карандаша, но удивительнымъ по жавому сходству съ оригиналомъ, изящной простотѣ и проникновенію въ личность писателя...».

Такимъ образомъ оказывается, что и въ этомъ отношеніи все обстоитъ благополучно и упадокъ современной русскаго литературы остается только въ заглавіи и въ 40 первыхъ страницахъ книги, а съ 41-й начинается уже ея процвѣтаніе.

Такое содержаніе книги г. Мережковского. Въ слѣдующій разъ мы разберемъ ее по существу.

А. Скабичевскій.